

БОЛЬШАЯ ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА
**АЛЕКСАНДРА
МЕЛИХОВА**

АЛЕКСАНДР
МЕЛИХОВ

РОМАН С ПРОСТАТИТОМ



Москва
2017

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М47

Оформление серии — *П. Петров*

Новая редакция романа, улучшенная и дополненная

Мелихов, Александр.

М47 Роман с простатитом : [роман] / Александр Мелихов. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 576 с. — (Большая литература. Проза Александра Мелихова).

ISBN 978-5-699-95501-5

Романтик средних лет влюбляется в не слишком счастливую, но невероятно поэтичную красавицу — и одновременно испытывает приступ острого простатита, требующего унизительных медицинских процедур. К тому же, как очень многие интеллектуалы, герой и его возлюбленная вынуждены добывать кусок хлеба челноничеством — это берущиеся штурмом поезда, шмон таможенников, сон вповалку на клетчатых сумках. Еще никто не изображал любовь на таком контрасте прекрасного и безобразного. Но красота любви, красота языка в конце концов одерживают верх.

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-95501-5

© Мелихов А., 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

1. ИСПЫТАНИЕ ПУСТОТОЙ

У же мое рождение было бунтом против материи: я был зачат сквозь два презерватива.

Плод бессеменного зачатия, почему же я не остался пророком — провозглашать истиной то, что нравится, а не стелиться жалким ученым червем перед тем, что есть на самом деле? Собаки знают: каждый носит с собой свою атмосферу. Космонавтам известно еще непреложное: если не заковать ее в скафандр, она будет тут же высосана и развеяна мировым вакуумом... Но самое главное — каждый носит с собой целый мир, который можно создать и удержать только усилием собственной души.

Расписанный морозом и мазутом мальчуганчик на курносых, с ионическим завитком коньках, прикрученных к валенкам остекленелыми ремешками, завернувши с горки в Егоровский сарай, гремучий, словно жестяной почтовый ящик, я увидел оконное стекло, прислоненное к волнистым жердям задней стенки. А в стекле — в стекле явился мой же собственный эскимосистый (малица) силуэтик, а за силуэтиком улица, снежная горка, кишущая черным пацаньем, и — в том же самом стекле, насквозь! — извивающиеся жерди, они же — волны (серое море, завалившееся на крыло), там же — выбитый сук,

похожий на опустошенный рыбий глаз, еще и обведенный двойной слоеной бровью (пацаны у нас любили ловить рыбку «на глазок» — ее же собственный), и черная глубь этого глаза, похожая на скважину в неведомую тьму, — и я вдруг ощутил, что могу видеть что захочу: захочу — себя, захочу — улицу, захочу — море, захочу — глаз, захочу — скважину в неизвестность. И чем дальше от правды — тем интереснее. Море интереснее жердей, тайна интереснее моря. Самое волнующее в мире — это то, чего в нем нет, то, что мы добавляем от себя, какая-то микроскопическая крупица отсебятинки, без которой мир уныл и пресен, как холодная разваренная вермишель без соли.

Что я говорю — «уныл», — ужасен! Теперь я стараюсь занавешивать стекла в своей комнатенке светлыми занавесочками, чтоб хотя бы не с такой убийственной яркостью ощущать беспредельную пустоту за ничтожной пленкой нашей голубенькой атмосферочки или бескрайность рядов (культпоход новобранцев в театр Советской Армии) совершенно одинаковых окон. Но веселенькая ткань быстро пронашивается под моим истерзанным, но все еще доискивающимся истины взглядом, и сквозь образовавшееся рядом мы с Правдой — с хамством торжествующей материи — неотступно глядим в глаза друг другу.

Впрочем, как-то, по старой памяти прижавшись лбом к холодному стеклу, я с давно не шевелившейся надеждой вдруг ощутил, что снова могу творить собственный мир — в одном и том же видеть разное. Фонари в тумане светились сказочными одуванчиками, асфальт, жирно лоснящийся надышанной Космосом изморосью, выгнулся хребтом своенравного змея-горыныча, желто-красные отражения светофора

дружно змеились на асфальте лоскутом подстреленной радуги...

И тут я лбом ощутил потрескивание стекла, — еще бы чуть-чуть, и — звон отточенных осколков, тепло-сосущий туман, заглатывающий мою нору, бесплодные поиски стекольщика и бесконечная беспомощность перед ним на многие дни — а почему бы и не годы? — и ненависть к себе, к своей bestолковости и никчемности снова раскаляется, хотя предел, казалось, давно достигнут...

Вы скажете, я сумасшедший? Нет, я просто ненормальный — я чересчур чувствителен и честен в сравнении с вами, с нормой. Для меня «может случиться» — почти то же, что «случилось»: если моя жизнь зависит не от меня, а от прихоти бессмысленного Хаоса... Вы умеете не видеть эту правду, а я постоянно вижу тысячи скалящихся, фиглярствующих личин, которыми Хаос забавляется с нами, покуда, наконец, не соберется мимоходом сглотнуть кого-то из наших близких, нашу честь, здоровье, имущество...

Но когда же все-таки, когда так называемая Правда Жизни, все эти протоплазмы и протоны, этот студень с песком успели высосать надышанное тепло иллюзий из моего скафандра? Исповедуясь третьему психиатру — тайком (тайна исповеди), чтобы не произошла утечка статуса, — насобачиваешься расписывать свой путь во тьму (к свету Правды!) не без мелодраматического шика. А шикарней бывает лишь мгновенная, ослепительная гибель.

Солнце до того ослепительное, что можно вообразить, будто это какая-нибудь Ривьера, Флорида, Гавайи. Прибой, ухая о парапет, взметывается ввысь блистающим петергофским гейзером и — ш-шух-х! — тяжеленным водяным бичом хлещет о набережную, а благодатный радужный бисер не успевает растаять

до следующего бича — бич-ш-шах-х-х! Под парашютом обронены окатываемые разыгравшимся морем великанские (каждая грань с письменный стол) бетонные кубики, обросшие нежной зеленой бородкой семнадцатилетнего водяного. Бородка, выныривая на солнечный свет божий оплавленным малахитом, успевает осушиться до состояния влажного чухонского мха и в этом мирном образе уходит под воду встрепенуться и вновь на миг остекленеть. Каким же трусом и занудой нужно быть, чтобы отказать себе в детской радости побродить по этому ласковому мху — особенно если вы молоды, ловки и прекрасно сложены! Малахитовая бородка при первом прикосновении ласкает подошву медузисто-скользким языком, но, прижатая к неколебимой бетонной основе, становится надежной, как асфальт — как ваше мускулистое тело, послушное вашей воле, словно оно часть вашей души, а вовсе не обременяющее вас хирургическое мясо. И плавки сидят как влитые, и девушки на берегу едва в силах отвести глаза, и... но что это? Почему все внезапно сделалось непонятным и безумным? Что-то зелено-полированное заслонило горизонт, и левый локоть неудобно прижат к животу, и звоном наполнилась вселенная, и верхняя губа утратила существование — аобразительный язык уже и без вас успел отыскать на месте чистенького, гладенького зубика страшный раздирающий зубец. И — это УЖЕ ВСЁ. НАВСЕГДА. Материя нам не повинуется. Вернуться на мгновение назад так же невозможно, как переменить эти насмешливые взгляды на испуганные или сострадаательные...

Не этот ли бритвенно-острый обломок зуба незаметно чиркнул по натянувшемуся горлышку моего правдонепроницаемого костюма, чтобы я всегда помнил о беспредельном могуществе сокрушитель-

ного Хаоса? Или реальность, как всегда, была гораздо проще и паскуднее? Внезапное потрясение перед впервые открывшейся красотой природы — еще в простеньком васнецовском вкусе: сказочная ель, отраженная в черном зеркале пруда, вмятый в осыпавшийся берег гигантский паук, обращенный в сплетение корней, опутанных земистой паутиной — и внезапная же расслабляющая боль в животе. И некуда бежать, и не добежать, и ничего другого не остается, как скрючиться под этой самой елью в паучьих лапах и, испуская палящую струю (боже, у меня ж и бумажки с собой нет...), заметить краем полуослепшего от внезапности катастрофы глаза торпящуюся прочь, отворачивающуюся девичью фигурку... Прочь от тебя, мерзкого раба собственного кишечника!

Или даже и это — дань мелодраме? А в жизни не бывает одноразовых революционных поворотов и взрывов, а все рождается из пылинок, из капелек, которые потихоньку-полегоньку и перетирают гранит и мрамор в труху? Ум, этот самодовольный умник, и в самом деле обращает живое в мертвое, ибо наука — торжество неодушевленной материи: нет «царей природы» — мы все рабы ее «объективных законов». Вы со слезами на глазах (что за железы их, кстати, производят и из чего?) читаете стихи, а кишечник ваш издает озабоченное бурчание, — да кто же так смеется над человеком?..

А что, собственно, самое паскудное в обнажении наших тайных устройств? Да наша прозрачность (до кишок), познаваемость, уничтожение тайны. «Тайны, похищенные у природы», — у природы и у поэзии: мы — всего лишь *устройства*.

И укрыться от этой, каждому известной, правды, от ее космического мороза, мгновенно обращающего упругий каучук в хрупкий фарфор, можно лишь

в эфирном тепле выдумки — нужно вопреки очевидности верить, будто наш вкус утонченнее вкуса паука, а наш стон значит больше, чем вой полуторки, увязнувшей в грязи. Животворящие иллюзии должны облегать душу, как облегает тело спасительная кожа. Для освежеванной, лишенной иллюзий души каждая пылинка становится раскаленным угольком, отравленной иглой, вечно нарывающей занозой.

Но с какою же маниакальной добросовестностью — рыцарь Истины! — я соскабливал с себя иллюзию за иллюзией, презрительно поглядывая, как их клочья ежятся на цементном полу прозекторской и жалобно просятся обратно — того и гляди, вспорхнут и бабочками обсядут своего освежеванного хозяина...

Следующую попытку прорыва «объективных законов» я предпринял лет через семь — по обычному рецепту чудотворцев: горчичное зерно искренней веры на ведро мошенничества. Длиннющий сарай, так и не сумевший до конца выпростаться из-под земли, словно гриб-печерица, — он же полуподвал, откуда и куда-то развозили квашеную капусту. Из разинутой боком плоскогубой пасти ворот всегда дышало холодом — там под слоем ржавых опилок (у нас на Механке и «Золотая осень» показалась бы ржавчиной) все лето никак не таял удивительный лед, во всю метровую толщу насыщенный звездными туманностями мельчайших пузырьков, как будто закипевшая от кессонной болезни вода была охвачена внезапным космическим морозом. У ворот очередь — особые гурманы желают почерпнуть из первоисточника. Тут же телега с могучими бочками, намертво стиснутыми ржавыми обручами, тоже могучими, как меридианы. Под телегой разлеглась в холодке раздумчивая лохматая псина.

Капуста нашлепана в бочки выше краев — террикончики потрепанных лоскутьев пытающегося ожить, пустившего прожилки халцедона. Мрачный кучер Колька Журавель зло — как по заднице через колено — охлопывает капустные горки, оставляя на них черные пятерни — все светлеющие морские звезды из адских подземных морей.

— Ох, руки... — не столько укорая, сколько философически грустя о несовершенстве мира, покачала головой тетка из очереди.

— Ты б тут поработала — посмотрели бы, какие бы у тебя были руки! — внезапно выскочил Журавель: простая и очевидная Польза всегда ждет случая встать против всего, что возвышается над ней — для начала хотя бы против вежливости, гигиены...

— А в армии бы — все съели! — предложил примириться в общем восхищении солдатской всеядностью крючконосый, но почему-то добродушный дядька (его тоже сто раз видел).

Журавель (фараон в колеснице) властно огрел свою клячу тяжелым палаческим кнутом, она, страдальчески выгнувшись, рванула, заднее колесо неуклюже перевалилось — да, да, через псину. Колька — «тпр-ру, зараза!..» — приостановился, потом, с досады вытянув еще и собаку (она не откликнулась ни вздрогом в своем бесконечном вое), загрохотал по торчащим железкам, коими почва моей родной Механики была напичкана не слабже какого-нибудь Вердена.

Собака оказалась как будто пластилиновая — продавленная середина прилипла к земле. Она пыталась ползти на передних лапах, но никому не позволяла прийти ей на помощь — рыкала, да еще и пыталась цапнуть: понимала, что никому ни в чем помочь невозможно. Потом, как водится, сдохла. Кладовщик за задние лапы отволоч ее подальше, и дело было кончено.

Но только не для меня. Я каждое утро бегал посмотреть ей в глаза. Лет за пять до того, заглянув в лицо дохлому котенку, я видел *глаза* — яркие, словно драгоценные камни (как только природе не жалко разбрасываться такими!) — и подумывал, нельзя ли их оттуда как-нибудь выковырять, — теперь же я видел не глаза, а *взгляд*, полуприкрытый, но тем отчетливее на что-то намекающий. Это сейчас опрокинутая навзничь на асфальте человеческая фигура с головой в засопливившейся кровавой лужице рождает во мне единственную мысль: отчего руки у нее торчат вверх, упершись локтями? Как это ей удалось закончить в такой прихотливой позе? Вот на перевале между Тбилиси и Ереваном (ощущение необычайной чистоты воздуха, склоны укрыты бронзовыми завитками, спустившимися с сильных нагих деревьев, которые я про себя решил называть буками, потому что, к счастью, не умею различать ботанические породы — оскучивать их прекрасные имена: вяз, ясень...) было еще по-другому: я внезапно вздрогнул от взвизга тормозов и увидел, как перед акульим оскалом — «Москвича»? «Жигулей»? тоже не выучился их разбирать — ме-едленно опускается шелковистая собачья лапа, и только потом разглядел лежащего на боку щенка-подростка, которому эта лапа принадлежала. Лапа улеглась на асфальт, и наступила тишина. Водитель, круто вильнув, умчался к берегу турецкому, а подросток остался лежать на боку. Потом к нему пришла взрослая собака, обошла его кругом, обнюхала и пошла прочь — «Ничего не попишешь!» Но тогда мне еще как-то неясно казалось, будто то, что я вижу, это еще не все.

Переглядываться с первой моей собакой мне помешала лишь вонь, постепенно сделавшаяся нестерпимой. Но взамен мне внезапно открылось, что от меня собака помощь приняла бы, меня бы

она не укусила. Потому что если подходить — хоть к собаке, хоть к человеку — с открытой душой, они *никогда тебя не укусят*. И я спокойно приблизился к угрюмой дворняге, скалившей зубы из ржавой бронированной будки, и погладил ее — сначала по шерсти, а потом и против. Затем подошел к другой, третьей.

Мною уже начали гордиться — даже большие (на Механке взрослые отличались от детей только размерами да сединами): передавали радостно, что вот этого пацана ни одна собака не тронет. И они действительно не трогали — только изумленно урчали. Пока дело не дошло до знаменитой немецкой овчарки Забабахиных. Сказочно прекрасная, с траурными тенями вокруг мудрых сталинских глаз, с уверенно наостренными ушами (единственный признак породы, признававшийся на Механке), она имела резиденцию в просторном голубеньком домике из строганых досок, а не из ржавой железной рвани — отходов, как почти все, что нас окружало, мехзавода (нечто мягкое, пушистое) им. Ям Свердлова. Рассказывали, что Забабахин продавал ее щенят (додуматься же — продавать щенят!) за какие-то немислимые деньги — двадцать пять рублей (бутылка водки!) штука, — очевидно, куда-то в заморские края, ибо у нас в Октябрьском никто никогда немецких овчарок больше не видел.

Я спокойно подошел к забабахинской аристократке. Она с рыком ринулась из будки, словно поезд из тоннеля, сбила меня с ног и принялась рвать. Я успел сунуть ей локоть в пасть и потом уже не давал сдернуть с него ее прекрасную, обезумевшую от ярости морду — правда, локоть она изжевала мне изрядно, но я был уже в зимнем пальтишке, так что ей досталось больше ваты, чем крови. Я был совершенно спокоен, когда меня освободил белый, как

сыр, Забабахин — тоже чужак на Механке: крашенный забор, начальническая шляпа...

Казалось, репутация моя была загрызена на смерть, но — легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем неугодной правде проникнуть в скафандр подлинной веры: оказалось, все дело было в том, что овчарка была *немецкая!* Не чудотворец слаб, а дьявол силен. И однажды я увидел кучку пацанов, припавших к щелям забабахинского вызывающего забора. Припав рядом, я увидел печального Забабахина (в полосатой пижаме, сильно культурный нашелся!) на корточках у мертвой, но прекрасной псины (лишь чуть испорченной туповатой гримасой тошноты): покусившуюся на чудо-красавицу отравил какой-то неведомый хранитель веры.

Я тоже не утратил веры в свой дар, — только стал пускать его в ход лишь изредка, опасаясь не за себя, а за псов: как бы им не пришлось расплачиваться, нечаянно подпавши под власть чуждых сил. Только следующим летом я набрел на свою первую собаку и увидел под кое-где уцелевшими ключьями ишелудивевшейся шкуры сравнительно чистый, очень толково устроенный скелет. Позвонки были аккуратно уложены не лишенным изящества изгибом — порядок нарушался лишь в одном месте, где была высыпана горсточка беспорядочных осколков.

После этого я устроил всего два или три чуда, а потом и вовсе бросил это дело — охота пропала. Нет, я еще не постиг, что чудотворцем можно стать лишь ценой массовой лжи и устранения скептиков — мой скафандр оказался проницаем лишь для ясности. Ясности устройства, скелета, механизма — уж их-то мы навидались: перекаленные механизмы окружали мехзавод им. Ям Свердлова могучим ржавым валом, именуемым Курской дугой, и все эти наши человеческие переглядывания и намеки для них

не значили ну ровно ни-, ровно -че-, ровно -го. Они были вовсе не лишены тайны — коленвалы, эксцентрики, редукторы, а особенно котлы и моторы (клапаны, заглушки, карбюраторы!), я проводил многие часы, карабкаясь через них и сквозь них. Через их суставчатые руки-ноги, через их коленчатые кишечники — когти мехграблей были вполне сходны с нашими ребрами, но — человеку кесарево, а механизму слесарево. Когда механизм отправляется в вагранку и огранку — это одно, а когда человек в крематорий — это (нужно верить!!!) совсем, совсем другое.

Если скелеты тебя в чем-то убеждают своей простотой и наглядностью, значит, тебе и самому пора в их компанию. Хорошая инъекция отсебятинки — и железный век изумит упоительнее каменного. Ну что там, в каменном, такого уж особенного? Ну, каменные топоры, каменные пилы, лопаты, кастрюли, ножи, вилки, шляпы, жилеты, подтяжки... А зато у нас на Механке — железные заборы, сараи, крыши, стены, — в ветреную погоду разыгрывались целые колокольные концерты! У нас гремели гулкие сортиры-резонаторы, сварные собачьи будки превращали любого барбоса в Марио Ланцу, литые кошачьи плоски тянули на полпуда, жестяные подушки набивались витым золотом и перекаленной синью (соперничающей с басистыми помойными мухами) металлических стружек, которые, свисая из раскатистых мусорных баков, случалось, напоминали о париках Исаака Ньютона и Джонатана Свифта. Отфрезерованные кеп... — но нет, макушечные пупки кепок-восьмиклинок тянулись незримой пуповиной к породившим их суконным штанам (36 см ширины) и двубортным пиджакам, пошитым с первых десяти получек и после первого обмыва рыжевшим до морковности из-за подзаборной и заборной ржавчины